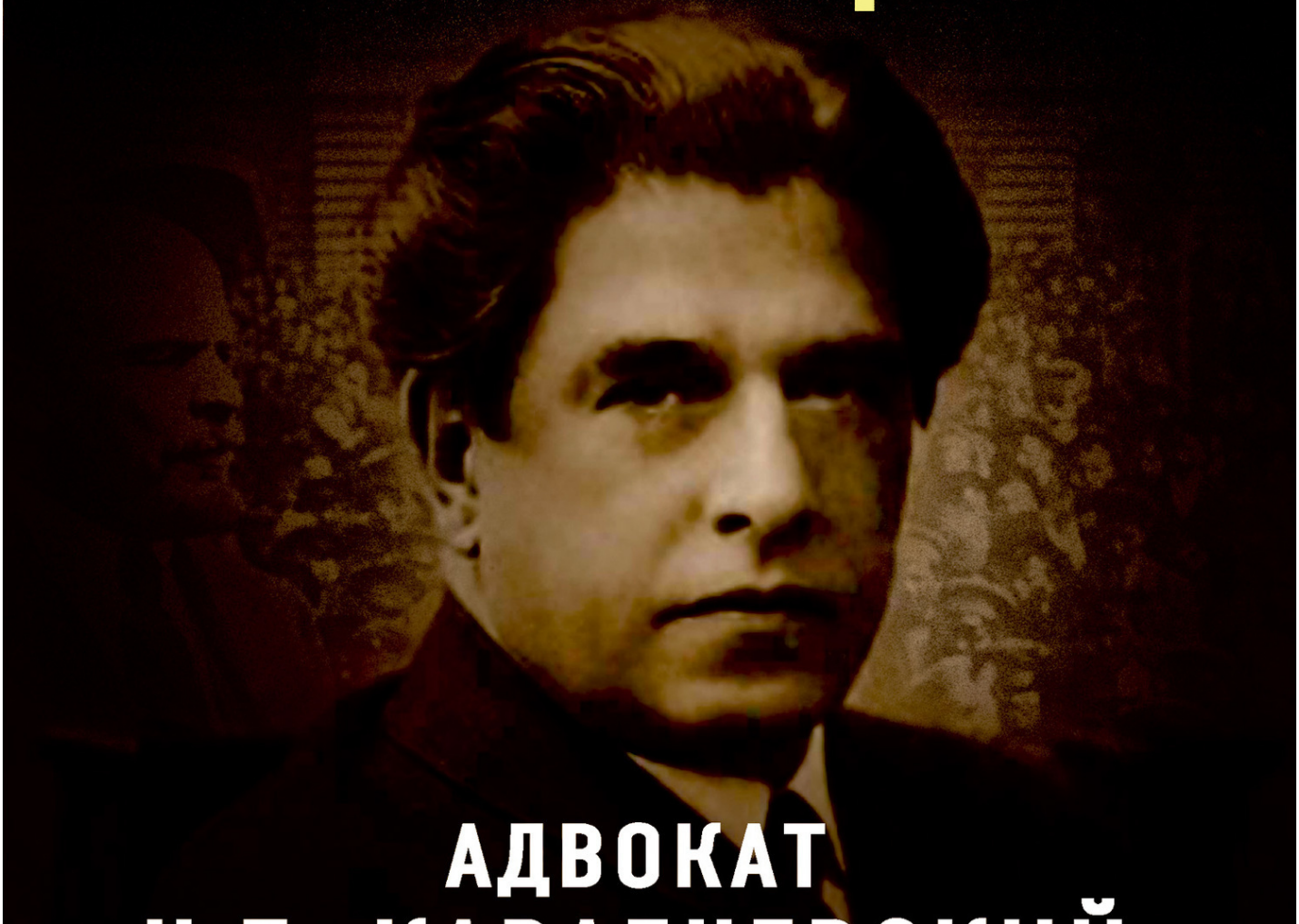
СВИДЕТЕЛИ РЕВОЛЮЦИИ



АДВОКАТ Н.П. КАРАБЧЕВСКИЙ

ДЕЛО О ГИБЕЛИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Свидетели революции

Николай Карабчевский

Дело о гибели Российской империи

«Алисторус»
1921

УДК 327
ББК 66.4

Карабчевский Н. П.

Дело о гибели Российской империи / Н. П. Карабчевский — «Алисторус», 1921 — (Свидетели революции)

ISBN 978-5-906914-74-3

Николай Платонович Карабчевский – один из самых выдающихся адвокатов дореволюционной России. Он был вхож в высший свет, лично знаком с Николаем II, царскими министрами, со многими политическими деятелями этого времени.В своей книге он детально разбирает степень вины каждого из них в гибели Российской империи: перед читателями предстанут такие знаковые фигуры как сам царь, его жена, политики «правого» и «левого» толка – Гучков, Пуришкевич, Родзянко, Милюков, Керенский и Ленин. По мнению автора, все они, кто преднамеренно, а кто невольно способствовали развалу России в тот самый момент, когда она уже вступила на путь нормального развития. В результате в выигрыше оказался большевизм – «жестокий, но логический урок русской истории».

УДК 327
ББК 66.4

ISBN 978-5-906914-74-3

© Карабчевский Н. П., 1921
© Алисторус, 1921

Содержание

Вступление 5
Автобиография 7
Конец ознакомительного фрагмента. 16

Николай Карабчевский
Дело о гибели Российской империи

Вступление

Русские никогда не будут по-настоящему шлифованными, потому что над ними стали проделывать это слишком рано. Гений Петра был гений подражательный; это не был подлинный гений, творящий из ничего. Кое-что из того, что он сделал, было хорошо, но в большей своей части неуместно. Он видел, что народ его еще в состоянии варварства, но не видел того, что он еще не созрел для окончательной шлифовки; он хотел цивилизовать его, когда надо было начать с того, чтобы сделать его твердым. Он затеял творить из своих подданных немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы сделать русских; он навсегда воспрепятствовал своим подданным стать тем, чем они могли быть, вбив им в голову, что они то, чем они не были. Так иной французский наставник ведет своего воспитанника к тому, чтобы он, блистав в детстве, оставался потом навсегда ничем.

Российская империя пожелает подчинить себе Европу, но сама будет подчинена. Татары, ее собственные подданные или соседи станут ее господами, и подобная революция мне представляется неизбежной. Все европейские правительства дружно работают над ускорением этого.

Не считаться с такими предсказаниями, особенно сейчас, когда оно уже в большей своей части сбылось, значило бы закрывать глаза. Можно только удивляться еще прирожденной силе русского народа, который выносил стойко все правительственные над ним эксперименты и сдал только в период общечеловеческих бедствий.

Оговариваюсь заранее: я отнюдь не славянофил в том узком смысле и квасном вкусе, как это принято у нас понимать, но я и не западник того типа, которым щеголяла наша литературная и всякая иная «интеллигенция», полагавшая все свое призвание в пересадке на русскую, неудобренную почву самых дорогих и ценных цветков европейской культуры, взращенных чужим трудом и политых потом и кровью других народов. На даровщину эти ценности не приобретаются; прочно только то, что добыто своими усилиями, что вписано на страницы своей истории собственной кровью.

Начать хотя бы с декабристов, ореол славы которых живет исключительно их мученическим концом и чертами рыцарского благородства некоторых отдельных личностей. Вне этого какая ребяческая, туманно-подражательная программа, какой нелепый замысел – объять необъятное, когда в то время у России была единственно насущная задача: мирное освобождение крестьян от крепостной зависимости? Веди они только эту пропаганду, словами и примером, они были бы не декабристами, а практическими гуманистами высокого закала, и их деятельность не осталась бы для России без культурно-реальных плодов.

Не даром Лев Толстой, начав было, и бросил писать свой роман, сюжетом которого должны были явиться декабристы. Они достойны простой исторической справки, но это не герои эпопеи.

В то же время нигилизм, охвативший Россию в начале царствования Александра II, не иллюстрирует ли беспочвенность русской интеллигенции?.. И в какую минуту, когда мирной просветительной работе, не будь его эксцессов, с пожарами и террористическими актами, открывался уже значительный простор? Его антикультурные проявления достаточно охарактеризованы в «Бесах» Достоевского, чтобы интеллигенция, жаждавшая во что бы то ни стало «великой» революции для России, могла считать себя не предупрежденной относительно неизбежности тех отвратительных ее последствий, которые вылились теперь. Ряд террористических

актов, которым на протяжении многих лет сочувствовала, если не поощряла, «интеллигентная» Россия, в конце концов, не принося никакой практической пользы, «только развращал» народные массы, разнуздывал их совесть, давал образчик самоуправных, кровавых расправ, якобы неизбежных, в поступательном историческом движении нации.

Оговариваюсь раз и навсегда относительно абсолютизма нашей монархии, правительства и всего того, что правило народом официально и якобы властно. Все это было в огромном большинстве своем ниже всякой критики, не только вне всякой определенной программы, но и малейшей продуманности. Непонимание собственных интересов правящих, сталкивающееся с таким же непониманием интеллигенции и ее неумением исповедывать не одни революционные мечты, а мирно-просветительные задачи, приводило к тупо-кровавому упрямству с той и с другой стороны, оставляя реально-насущные интересы страны вне этой вечной борьбы правительства с революционно-натасканной раз и навсегда интеллигенцией.

Когда мы говорим теперь, задним числом, о наших «тиранах-монархах», становится и стыдно, и смешно. Они могли бы быть в свое время тиранами, и, пожалуй, хуже, что ими не были, во вкусе Иоанна Грозного. Это, по крайней мере, заставило бы нашу «чеховскую» интеллигенцию, хотя бы ради шкурного своего бытия, быть не тем кисельно-ноющим, серым стадом, ожидающим спасения от отдельных мучеников-террористов. Кликни в свое время любой «тиран» свой клич к народу, посули ему хоть горсть тех обещаний, которые пригоршнями рассыпали ему и наши думцы, и наши революционеры относительно раздачи земель, неплатежа налогов и прочего, – и кроме царя и народа ни одной живой души не осталось бы в России. Всю интеллигенцию смело бы, как будто ее никогда не существовало.

Но, увы! – цари наши были и беспутными, и легкомысленными, и недоумками, но тиранами, желающими сами со своими потомками только уцелеть на престоле во что бы то ни стало, никогда не были. Три таких колосса мысли и чувства, как Пушкин, Гоголь и Достоевский, кончили тем, что поняли это, и провидели в царе слугу народа, при условии мирной и длительной ему подмоги, а не вечной разбойничьей травли из-за угла.

Царствование Александра II с первых же шагов было сплошною его травлею из-за угла, и нечему дивиться, что под конец его царствования это уже был травленный заяц, а вовсе не самодержавный монарх, не знавший, где и как искать опоры.

И самое убийство его Перовской и К° накануне какой ни на есть «конституции», могущей открыть брешь к правильному политическому развитию России, не было ли все тем же характерным девизом нашей недисциплинированной интеллигенции: «Все или ничего!»? Только цари, приближавшиеся сколько-нибудь к типу «тиранов», умерли у нас своею смертью. Уцелели до конца именно те, которые отвечали: «Ничего»!..

Автобиография

Свет Божий я увидел впервые в городе Николаеве Херсонской губернии, в конце 1852 года. Одновременно с ним я должен был увидеть множество женских лиц (тетушек родных, двоюродных и троюродных) и ни одного мужского лица.

Ни одного мужского лица потому, что мой отец (Платон Михайлович) как раз в это время, после возвращения из «похода против венгров» (подавление «венгерского восстания» в царствование Николая Павловича в 1848 году), получил в командование уланский Его Высочества Герцога Нассауского полк, который в эту пору квартировал в местечке «Кривое Озеро», где мать, мною беременная, не могла основаться. В то время процедура приемки и сдачи кавалерийского полка, с его фуражом, амуницией и лошадьми, считалась хозяйственно-сложной и крайне ответственной. К тому же принимаемый отцом полк в то время усиленно готовился к весеннему Высочайшему смотру в Чугуеве, куда по этому случаю должна была стянуться кавалерия со всего юга.

Отца моего я никогда не видел; по крайней мере не помню, чтобы я его видел; видел ли он меня в течение полутора лет, которые он еще прожил после моего появления на свет, – не знаю.

Вероятно, все-таки урывался в отпуска и подержал на своих руках наследника.

Долго мне об отце никто ничего не говорил, и ничто мне его не напоминало, кроме молитвы, которой меня научила, в числе других молитв, няня Марфа Мартемьяновна.

Каждое утро и вечером, перед укладыванием меня в постель, я повторял сначала за нею, а затем выучил и наизусть, кроме «Отче наш», «Богородицы» и «о здравии мамы, бабушки, сестрицы и всех сродников», еще и такую молитву: «упокой, Господи, душу родителя моего, раба Божия Платона и сопричти его к лику праведных твоих».

Не будь этой молитвы, сочиненной, очевидно, сердобольным рвением самой Марфы Мартемьяновны, мне бы не приходило в голову, что у меня, кроме бесконечно любимой матери, был еще и отец.

Только уже почти в годы отрочества, из рассказов матери и других, близких мне (а их было множество, и все говорливого, женского пола), я узнал кое-что доподлинно о моем отце.

Он женился на моей матери бездетным вдовцом и прожил с нею недолго, всего лет шесть. Старшая моя сестра Соня умерла, не дожив и года; вторая, Ольга, старше меня года на два, была бессменной подругой всего моего детства. По общему отзыву, она была «вылитый отец», я же походил, скорее, на мать.

Судя по сохранившимся двум портретам покойного отца, он был видный, бравый кавалерист. Мать, которая вышла за него замуж по страстной любви, уверяла, что он был «просто красавец». На одном портрете (акварель) он изображен на своем белом, арабской крови, «Алмазе», в полной парадной форме своего полка. На другом, малом, рисованном на слоновой кости, он изображен только по пояс. По отзыву матери, этот особенно разительно передал сходство. Здесь, рядом с белыми, во всю грудь, лацканами его мундира, он выглядит жгучим брюнетом, с черными, как воронье крыло, опущенными вниз усами, небольшими, по тогдашней моде, бачками и черным, как смоль, слегка вьющимся коком, над высоким смугловатым лбом.

Позднее родной брат покойного, Владимир Михайлович Карабчевский, утверждал и объяснял мне, что род Карабчевских – турецкого происхождения. У него была даже какая-то печатная брошюрка, семейная реликвия, содержавшая в себе соответственные сведения. Во время войн при Екатерине, при взятии Очакова, был пленен мальчик-турчонок, родители которого были убиты. Его повез с собою в Петербург какой-то генерал, там его отдали в военный корпус и дали фамилию от «Кара», что значит черный. Он мог быть дедом моего отца и, стало

быть, моим прадедом. Весь род Карабчевских, вплоть до меня, служил в военной службе, преимущественно в кавалерии.

Из формулярного служебного списка покойного отца, который и сейчас у меня цел, я знаю, что образование он получил «домашнее», причем в той же графе почему-то особо обозначено: «арифметику знает». В полк он вступил юнкером, довольно поздно, так как пробовал раньше какую-то штатскую службу. В военной он подвигался очень быстро; очевидно, нашел свое призвание. Полковником и уже полковым командиром был, когда ему едва стукнуло сорок лет.

После знаменитого Чугуевского смотра, на котором перед Николаем Павловичем парадировала преимущественно кавалерия, отец удостоился особой, занесенной в его формуляры Высочайшей благодарности. Предрекали, что следующей для него наградой будут вензеля и флигель-адъютантский аксельбант; но рок судил иначе. Именно с этого смотра, предшествуемого бесконечными учениями и маневрами, он, по словам матери, вторично жестоко простудившись, стал хворать, но ни за что не хотел оставить службы и перемогался, пока не слег совсем.

Умер он на 43-м году жизни там же, в Кривом Озере, где стоял его полк. Там и похоронен близь самой церкви.

В графе формулярного списка покойного отца со стоическою краткостью обозначено: умер «от кашля».

* * *

Оставшейся молодою вдовою, матери не раз, по понятиям бабушки, представлялись «прекрасные партии», и она очень склоняла ее выйти вторично замуж; но мать – трижды будь благословенна ее память! – из любви к детям не решилась дать им отчима и не стала вить нового гнезда, оберегая прежнее, осиротелое.

Мать свою я любил бесконечно.

Величайшим в раннем детстве было для меня счастьем забраться к ней за спину, когда она по вечерам читала или вышивала, сидя у лампы, на своем «вольтеровском» кресле, и играть с завитками ее волос у шеи и целовать их. Иногда я тут же и засыпал, свернувшись клубочком, или притворялся спящим, потому что тогда она сама уносила меня в кроватку и помогала раздевать меня. Я обнимал ее шею и долго не отпускал от себя.

Я был большим «плаксой». Бесчисленные мои кузины, носившие меня на руках, не напрасно утверждали, что у меня «глаза на мокром месте». Но это было не от капризов, а от чрезмерной впечатлительности.

Мать любила общество, ездила на балы и вечера, но это повторялось не слишком часто. Эти ее выезды были для меня одновременно и большим блаженством, и большой мукой. Мы с сестрой всегда присутствовали при ее туалете в эти вечера, усаживались в креслах с двух сторон ее туалетного зеркала. Какою она мне представлялась тогда красавицею с открытой шеей и округлыми матовыми плечами, в изумрудном ожерелье, таких же серьгах и фермуаре, отливавших бриллиантовыми искрами. Я понимаю теперь, почему из всех драгоценных камней изумруд до сих пор мне особливо люб.

«Женское царство» окружало меня в детстве.

Я был в то время единственный «мужчина» в доме.

Дядя Всеволод, который впоследствии был долго неразлучен со мной, в это время служил еще в Петербурге.

Бабушкин сын от первого ее брака, Всеволод Дмитриевич Кузнецов, был флотским офицером. По его собственному признанию, он был плохим моряком, так как жестоко страдал от морской болезни. Уже во время мичманского кругосветного плавания его вынуждены были,

где-то за границей, «списать на берег», так как он не только не свыкался с морем, но каждая новая качка становилась для него смертельной угрозой.

Благодаря этому ему стали давать береговые места, а в данное время он состоял офицером Морского корпуса в Петербурге.

Остальной морской элемент обширной бабушкиной семьи, так или иначе прикосновенный к флоту, был либо в Кронштадте, либо в Севастополе, где вскоре должна была начаться знаменитая Севастопольская страда.

В качестве единственного наличного представителя мужского элемента в семье, балуемого женским полом, был, таким образом, я, и потому нетрудно себе представить, сколько женской любовной ласки выпало на мою долю с первых дней моего существования.

Однако с кормилицей у меня, как мне рассказали потом, вышло огромное недоразумение: на восьмом месяце моего кормления она неожиданно скрылась, «как в воду канула». Ее так и не разыскали, хотя все меры к тому были приняты.

Были от полиции и «розыск», и «публикации». Публикации в то время так производились: ранним утром ходил по улицам своего околодка «служивый будочник» с барабаном и барабанил вовсю. Проходящие и из домов посланные, выбежав на улицу, должны были его спрашивать: «служивый, о чем публикация?» Он останавливался и собравшейся около него кучке народа объяснял: так, мол, и так, пропала корова, сбежала дворовая собака или учинена покража таких-то вещей, а в данном случае сбежала, дескать, дворовая девка помещицы, генеральши Богданович, таких-то лет и приметы, мол, такие-то. Нередко сулилась при этом и награда за указание и розыск. Таким же порядком оповещалось городское население о предстоящих публичных казнях и телесных наказаниях.

Кормилицей моей была бабушкина «дворовая девка», деревенская красавица Ганя, или «Ганка», которая перед тем очень провинилась. Живя при своей матери-коровнице в «экономии», она родила незаконного ребенка и его, как мертвого, скрыла. Вероятно, сама же удавила.

Властным распоряжением бабушки ее «покрыли» т. е. не довели дела ни до полиции, ни до суда (не лишаться же девки!), а «по-домашнему» – наказали.

К этому времени подоспело мое рождение и, как здоровую и рослую, ее определили мне в кормилицы.

Дело пошло очень ладно. Здоровое деревенское молоко питало меня на славу. На красавицу кормилицу, пышно разряженную, что твой павлин, на улицах прохожие глядеть останавливались.

По рассказам домашних она полюбила меня, часто целовала и, баюкая, пела свои малороссийские песни.

Особенно любила петь:

Віют вітры, віют буйны,
Аж деревья гнутся…

И вдруг, бросив меня на произвол судьбы, пропала.

По соображениям домашних, основанным на кое-чем подслушанном Марфою Мартемьяновной в девичьих, красавицу Ганю «сманил» заезжий грек (греками-«парусниками» в то время кишел Николаев) и увез ее на своем судне в Константинополь.

Бедная Ганя, вот куда занесли ее «вітры буйны». Чего доброго, продал ее алчный грек какому-нибудь богатому турку в гарем… А кто знает, быть может, сам, плененный ее красотою, сделал ее подругой своей жизни, и стала она барыней.

* * *

Всех менее меня баловала бабушка, Евфросиния Ивановна, хотя я чувствовал, что она любит нас обоих, сестру и меня; да и сам я хотя сдержанно и почтительно, но любил ее.

Как обстояло дело, пока меня носили на руках, не знаю: сама ли она заходила к нам или к ней на показ носили внука. Вернее последнее, по крайней мере, с тех пор, как я себя помнил, я ни разу не видел, чтобы она заходила к нам во флигель, а между тем мы видели ее аккуратно два раза в день, утром и вечером.

Обычно этому предшествовала некоторая процедура: сестре одевали свежее платьице, расчесывали «пушисто» волосы и завязывали их сзади лентой, «большим бантом»; меня также обдергивали, оглаживали и приводили в порядок.

В хорошую погоду мы с няней Марфой Мартемьяновной чинно проходили двором ширину ворот, с нашего крыльца на ее крыльцо; в дурную же погоду, в мороз или дождь, нас укутывали «с головой», и кучерявый Степка или дюжий бакенбардист Ванька бегом переносил нас разом, меня с сестрой, в «большой дом».

Здесь через анфиладу парадных комнат, казавшуюся мне неимоверно пространной и пустынной, мы чинно следовали в бабушкин будуар, где она всегда восседала в кресле на обычном месте.

Как только мы сворачивали из столовой и попадали в зал, чтобы пересечь его и проследовать двумя гостиными (большой и малой), нам уже издали видна была бабушка, так как ее кресло стояло как раз против раскрытых дверей в «парадные» комнаты.

Строго говоря, каждый день мы видели двух бабушек. Одну пышную и важную барыню, с коричневыми начесами и фигурной наколкой на голове, в шелковом, шуршащем платье, с персидскою шалью на плечах; в руках она обязательно держала мягкий, цветистый, фуляровый платок и миниатюрную золотую табакерку, с ее вензелем в гирлянде, на верхней крышке.

Вечером это была совсем другая бабушка, куда симпатичнее утренней, парадной. Совсем седенькая старушка, с головой повязанной темно-коричневым «очипком», в теплой домашней «душегрейке», отороченной серым мехом, с коленами, укрытыми мягким пуховым одеяльцем; в руках у нее не было ни утреннего платка, ни щегольской табакерки. Взамен этого на круглом столике, стоявшем подле самого ее кресла, лежали большая серебряная, с чернью, табакерка и огромных размеров полосатый носовой платок с цветными разводами, тут же лежала колода фигурных карт, разложенная «пасьянсом», и большие круглые очки в черепаховой оправе.

По утрам мы только прикладывались к ее руке, кое о чем она нас спрашивала, опрашивала и Марфу Мартемьяновну, как мы себя вели, и предательски интересовалась, не было ли у меня «насморка» т. е., попросту, не ревел ли я накануне, когда мама уезжала на вечер.

Все в доме знали, что я большой «плакса», но дипломатически это именовалось «насморком». Если Марфа Мартемьяновна бывала «в духе», то «покрывала» меня, и я торжествовал, так как бабушка, погладив меня по голове, говорила, что я «умник». В противном случае бабушка выразительно качала головой и что-то строго наговаривала, чего я уже не слышал, так как «насморк» предательски подступал мне к горлу, и нас спешили увести.

Вечерние наши свидания с бабушкой бывали всегда и продолжительнее, и много приятнее.

Самый наружный вид ее располагал к интимности… Белые, жидкие волосики, выбившиеся из-под «очипка», ласково смягчали довольно резкие черты ее лица; «душегрейка» со своей меховой оторочкой как-то мягко облегала ее теперь вовсе не пышную, а старчески сухощавую фигуру.

И ритуал наших вечерних посещений был совсем иной.

Марфа Мартемьяновна, после того как доводила нас до бабушкиного будуара, низко ей поклонившись, не оставалась в комнате, а проходила дальше в помещение Феклы и Фионы, двух бабушкиных наперстниц.

Сестра, которая была самоувереннее и побойчее меня, усаживалась непринужденно на скамеечку, стоявшую в ногах бабушки, брала ее сухощавую, с голубыми жилками руку и поглаживала ее, а я обыкновенно стоял вплотную у бабушкиного кресла.

Матовый свет масляной лампы, стоявшей на столе, как-то легко и тепло освещал всю негромоздкую фигуру «бабушки-старушки», и я чувствовал к ней несказанную нежность, выражавшуюся, впрочем, только тем, что я начинал учащеннее дышать и сопеть носом.

Тогда она сама протягивала ко мне свою руку, которую я целовал, а она несколько раз гладила мою щеку. Пока Марфа Мартемьяновна оставалась в гостях у Феклы и Фионы, слышен был заглушенный говорок, который, восполняя вечерний уют, складным полушепотом достигал до будуара бабушки.

Наконец, когда наступало время, в комнате появлялась Марфа Мартемьяновна, а за нею, на пороге бабушкиной спальни, показывались Фекла и Фиона, знаменуя своим появлением конец нашего вечернего визита бабушке и начало приготовлений к ее сну.

В отличие от утреннего нашего расставания с бабушкой, дело не ограничивалось одним целованием ее руки; она сама целовала нас, крестила каждого в отдельности и отпускала с миром.

* * *

Бабушкино городское владенье в общей его сложности, т. е. включая два дома, оба двора, сад, флигеля и службы, долгое время, пока не было удовлетворено сполна мое любопытство и я не вызнал его во всех подробностях, представлялось мне целым заколдованным царством.

Оно было действительно обширно, так как граничило тремя улицами и занимало три четверти огромного квартала. Остальная его четверть была поделена между Старообрядческою церковью, с домом для причта, и мастеровым еврейским людом, ютившимся в ряде казарменного вида низких построек, сдаваемых Старообрядческим обществом в долгосрочную аренду.

И там, и здесь молились Богу, думали о Боге, надеялись на Него… И каждый особенно, каждый по-своему! Зачем Бог не соберет всех разом вокруг себя? – думал я…

Нас учили молитвам и рано стали водить в церковь. Но мы ездили только в адмиралтейский Собор, где служба совершалась очень торжественно тремя священниками и дьяконом с пушистыми волосами и звонким басом, причем пел лучший в городе хор певчих.

Мама моя была не очень богомольна и редко бывала с нами в церкви. Нас водила туда Марфа Мартемьяновна, а после, когда дядя Всеволод переселился в Николаев, я стал бывать с ним в церкви каждое воскресенье, причем мы выстаивали всю службу в алтаре.

Молился я горячо и усердно, охотно клал земные поклоны. Сестра меня часто вышучивала за усердие: «Смотри, лоб разобьешь».

Кроме иконок и крестиков, висевших в изголовье моей кровати, и иконы Николая Чудотворца в углу комнаты, с лампадкой перед нею, я водрузил самолично пониже, в уровень с моим ростом, небольшую икону Спасителя, приладил под нею дощечку и налепил на ней тонкую восковую свечу, которую аккуратно зажигал по вечерам накануне праздников, желая, чтобы она горела всю ночь. Ее, разумеется, гасили, как только я засыпал, и мама часто выговаривала мне: «Того и гляди, пожара наделаешь!»

На первой неделе Великого поста бабушка говела. В церковь она ездила только к обедне. Вечерню и всенощную служил у нее на дому ее духовник «отец Дий», который исповедовал и причащал также меня и сестру.

За отцом Дием всегда посылалась карета, а причетник и певчие приходили пешком, немного ранее его и, скучившись на заднем крыльце, курили и болтали со словоохотливым «Ванькой», которого величали Иваном Макарычем.

В зал, где совершалась служба, допускалась вся «чистая дворня» и присутствовали обязательно все домашние.

Иван («Ванька»), любитель всяких торжеств, раздувал кадило и подавал его причетнику, а тот уже передавал его отцу Дию.

Мы, с бабушкой и мамой, стояли на первом месте, т. е. на ковре, который расстилался для этого случая. Для бабушки приносили из будуара ее любимое низкое кресло, на которое она садилась от времени до времени. Я всегда стоял подле него и, когда бабушка садилась, начинал особенно рьяно креститься, не кстати становился на колена; мне казалось, что этим усердием я замаливаю невольный бабушкин грех.

В комнате хорошо пахло ладаном, так же пахла и рука отца Дия, которую я горячо целовал, когда он, нагибаясь, давал мне целовать крест.

Из всех молитв, которые во время службы читал батюшка, меня волновала больше других та молитва, при произношении которой отец Дий клал земные поклоны и все присутствующие, словно по команде, кидались на колена. Я потом знал ее наизусть. Это была великопостная молитва «Господи и владыко живота моего».

И теперь, сознательно анализируя содержание этой превосходной молитвы, я нахожу ее даже выше «Отче Наш».

Это молитва русская, она особенно близка русской грешной душе. Недаром ею восторгался Пушкин. В ней мольба о том, чего как раз недостает нам, русским: твердой стойкости в самосовершенствовании.

После службы упитанный отец Дий, с лоснящимися щеками, оставался у бабушки пить чай и закусывать. Мне казалось странным, что он и ел с большим аппетитом, и был суетлив в разговоре.

В течение Страстной недели, обыкновенно начиная со среды, мама читала нам из книги «Нового Завета» про страдания и смерть Иисуса Христа. Чтения эти неукоснительно сопровождались горючими слезами. Плакала даже сестра Ольга, которая, в противовес мне, по выражению Марфы Мартемьяновны, «даром слезинки не роняла».

Мама читала внятно, не торопясь, и я видел, что у нее самой порою увлажнялись глаза. Горничная Матреша, непременно присутствовавшая на этих чтениях, стоя, опершись у косяка дверей, раз дело доходило до распятия, не выдерживала, крестилась и восклицала: «У, жидовины поганые, таки замучили Христа!»

* * *

Как сейчас помню первый рождественский Сочельник, в который я впервые должен был ужинать у бабушки, со всеми «большими». За стол не садились, ждали первой звезды, хотя все были в сборе. Это строго соблюдалось у бабушки.

Я выбежал на крыльцо, вслед за слугой Иваном (Ванькой), едва накинув на плечи шубейку. Ему приказано было возвестить о появлении первой звезды на небе, и я стал с ним вместе «искать звезды» на еще светлевшем небе.

Стояли тихие, чуть-чуть морозные, как бы подернутые легким туманом сумерки. Розоватое небо кое-где уже начало густо сереть и вдруг разом потемнело, и в ту же секунду появилась не одна звезда, которую мы искали, а вся масса звезд усеяла сплошь почерневшее небо.

Я опрометью бросился в комнаты возвестить о радостном событии.

Ужины Сочельников проходили у бабушки всегда с особенною торжественностью. Все решительно родственники, даже самые дальше, бывали налицо.

На этот раз я и сестра, Надежда Павловна и обе кузины – Леля и Люба – сидели за отдельным столом, но тут же в общей столовой, и все было видно и слышно.

Было светло, тепло и уютно.

Сколько подавалось разных блюд! Правда, все только постных, но превкусных. А на столах, в больших, искрящихся графинах, пенились темное пиво и светлый мед. К праздникам эти напитки, изготовляемые в нашем поместье Кирьяковке, привозились в бочонках на воловьих подводах вместе с ящиками, набитыми соломой, в которой были аккуратно уложены бутылки разных настоек и наливок.

Ни пива, ни вина мне не давали, но меда и вишневки дала мне попробовать Надежда Павловна.

Из числа блюд, подаваемых обязательно в Сочельник, были традиционные левашники (род больших поджаренных варениках с вишневым вареньем внутри), взвар (из сушеных груш и чернослива) и рисовая кутья с изюмом и миндалем.

Когда за большим столом заговорили о том, что вот скоро и Новый год, я поинтересовался узнать, который это будет год. Надежда Павловна и кузины разом сказали: «пятьдесят восьмой год от Рождества Христова». Я запомнил и поначалу думал, что так оно и есть, что Христос был на земле совсем недавно; мама уже мне растолковала про то, что к этому надо еще прибавить целую тысячу и восемьсот лет. Это меня почему-то опечалило.

С тех пор, как я запомнил то, что твердо знали все взрослые, т. е. который сейчас год и сколько мне самому лет (мне минуло шесть), я вырос в собственных глазах и не считал себя больше маленьким.

Этому много способствовало и то, как на этот раз прошли для меня праздники. Раньше для нас делали только «кукольные елки», которые ставились на круглый стол, и мы сами с кузинами их украшали, а Надежда Павловна приносила сластей.

В этом году дело обстояло иначе. Елка была настоящая, большая, и не у нас, а у бабушки, посреди большого зала. Было много взрослых, а детей мало; мне сверстника совсем не нашлось.

Было не очень весело. Мама поиграла на рояле, и все чинно ходили вокруг зажженной елки. Зато я был вполне вознагражден полученным с елки подарком. Когда я только вошел в зал, я сразу его заметил и тотчас же подумал: не мне ли? Как раз, оказалось, мне. Это была лошадь, совсем как настоящая, большая, вся в шерсти, с седлом, которое можно было, отстегнув подпругу, снимать и вновь надевать. Раньше у меня было много игрушечных лошадей, и в упряжке, и под седлом, но все были гораздо меньше. Эту же я едва-едва мог двигать, а вставив ноги в стремена, на ней можно было «ехать галопом», т. е. качаться сколько угодно.

Кроме «бабушкиной елки», было и еще кое-что новое в эти праздники. Утром, в первый день Рождества, к нам «впустили слободских мальчиков «со звездой». Они ходили из дома в дом, вертели звезду и пели. Я видел это в первый раз. Большую бумажную звезду они сами смастерили, оклеили золотою бумагой и пестро разрисовали.

Когда они ушли, Матреша очень ворчала. Они наследили мокрым снегом, и ей пришлось убирать за ними.

В день Нового года я проснулся под звуки духовой музыки. Может быть, так бывало и раньше, но я этого не помнил. Теперь же я, полуодетый, кинулся к окну столовой, выходившей во двор, и увидел, что посреди двора стояли кругом музыканты в флотской форме и один, с белой палочкой в руке, стоявший в середине круга, командовал, как им играть. Самый плотный из всего хора музыкант страшно надувал свои щеки, выдувая басовые ноты из огромной трубы, перекинутой через его плечо.

Музыка продолжалась довольно долго, и вся дворня высыпала во двор послушать. Под самый конец вдруг заиграли «Боже, царя храни», мама мне сказала, что это музыка в честь нашего царя. Из бывших во дворе кое-кто стал креститься; думая, что так надо, перекрестился и я.

* * *

Мама очень стояла на том, чтобы мы изучали языки. Когда ушла от нас Марфа Мартемьяновна к дяде Всеволоду нянчить его дочь Нелли, мама взяла к нам в качестве приходящей бонны англичанку, дочь местного переплетчика, родившуюся уже в России. Мисс Элиза оказалась больше по названию «англичанка»; она вечно болтала с нами по-русски. От нее мы научились немногому; она не научила меня читать и писать по-английски, так как сама была полуграмотна.

От ее пребывания с нами я запомнил только одну песенку, начало которой помню и сейчас:

Djordgik podjik, pudnen pay
Kiss the girls, and make them cry…

Дальше этого дело у нас не пошло.

Позднее мы еще ездили на уроки английского языка к одной обрусевшей датчанке, которая была замужем за англичанином, механиком адмиралтейства.

Она учила нас «по методе Робертсона». Ей я обязан тем, что могу и теперь еще читать английские журналы и книги, – не без напряженной помощи, однако, лексикона. Но разговорный английский язык со своим условным произношением, которым плохо владела и сама учительница наша, так и остался для меня недосягаемым. Когда, гораздо позднее, мне удалось побывать в Лондоне, меня любезно выслушивали, но не понимали.

На немецком языке мама почему-то не настаивала, и нас с детства ему не учили.

Вскоре по рекомендации директрисы одесского Института для благородных девиц, дальней нашей родственницы, мама списалась с «вдовою Жакото», проживавшей в Baumes-les-Dames близь Безансона, чья старшая ее дочь Клотильда, недавно прошедшая курс «Ecole Normale» в Безансоне, решилась ехать в Россию, чтобы стать нашею гувернанткою.

Появление в нашем доме «mademoiselle Clotilde Jacoto» имело место в конце лета. В доме у нас ей все понравилось. Только когда ей показали ее комнату, она, заглянув и в наши, запротестовала. Она нашла, что ее комната «immense» (огромна), и предложила, чтобы сестра Ольга спала с нею, а чтобы из комнаты сестры сделать «классную», о которой совсем не подумали. При этом она объявила, что у себя дома она спала «dans une toute petite chambre» (в совсем маленькой комнатке) и даже ночью приходилось держать окно не плотно закрытым.

Мама что-то упомянула относительно ее багажа, полагая, что с ним ей, может быть, будет тесно. На это она звонко рассмеялась и объявила, что ее багаж весьма не сложен.

Действительно, когда въехала во двор громоздкая подвода, с нее сняли и внесли в дом умеренных размеров «вализу» – в сущности корзину, обшитую черной клеенкой, и небольшой мешок-сак.

На другой же день принялись сообща за устройство «классной». Повесили несколько географических карт, приобрели письменные принадлежности, тетрадки; несколько учебных книг, которые она привезла с собою и какие были у нас, разложили на полках этажерки.

Милая mademoiselle Clotilde все как-то просто и жизнерадостно приветствовала, изумлялась размерам дома, дворов и сада, говоря, что это не городской дом, а целая усадьба: «une domaine».

Даже бабушка нашла ее симпатичной, особенно после того, как на ее вопрос, бывала ли она в Париже, та чуть не с ужасом ей отвечала: «oh, non, madame, jamais»» (о, нет, никогда!)

Вполне осмотревшись, mademoiselle Clotilde однажды радостно объявила маме: «Я очень беспокоилась: что-то ждет меня вдали от родины? И как я счастлива, что так хорошо мне выпало!)

* * *

Занятия наши с mademoiselle Clotilde начались для нас почти незаметно, но стали скоро систематичны и довольно продолжительны, особенно у сестры. С mademoiselle Clotilde, кроме французского языка, т. е. чтения, диктовки и грамматики, мы учили еще древнюю историю по «Lame Fleuri» и географию, и я долгое время карту России знал только по-французски.

Так как сначала она не знала ни слова по-русски, это много способствовало нашим успехам, и мы очень скоро стали свободно болтать по-французски, тем более непринужденно, что и мама с нами иначе не разговаривала в присутствии mademoiselle Clotilde. И впоследствии, когда последняя уже недурно усвоила русский язык, она говорила на нем только с прислугой.

С появлением Клотильды Жакото стали открываться для нас некоторые прелести общения с несколько однотонной, но все же южной природой города Николаева и его окрестностей.

Урочище «Спасск», на берегу широкого Буга, в глубокой низкой «балке», с его парком и «летним дворцом», возвышавшимся у спуска в парк, было раньше конечным пунктом наших прогулок в экипаже. Теперь именно это затейливое, в восточном стиле, двухэтажное здание, приспособленное под летнее «благородное собрание», стало пунктом отправления нашего в дальнейшие экскурсии.

За «Спасском» тянулось хорошо содержимое шоссе, пересекавшее во всю их длину ближние и дальние «Лески», в конце которых опять был какой-то восточного типа «дворец», заколоченный и необитаемый. По рассказам, оба этих «дворца» и сам «Спасск», парк, с его двумя изумительными источниками питьевой воды, были реставрированным наследием еще турецкого здесь владычества.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.